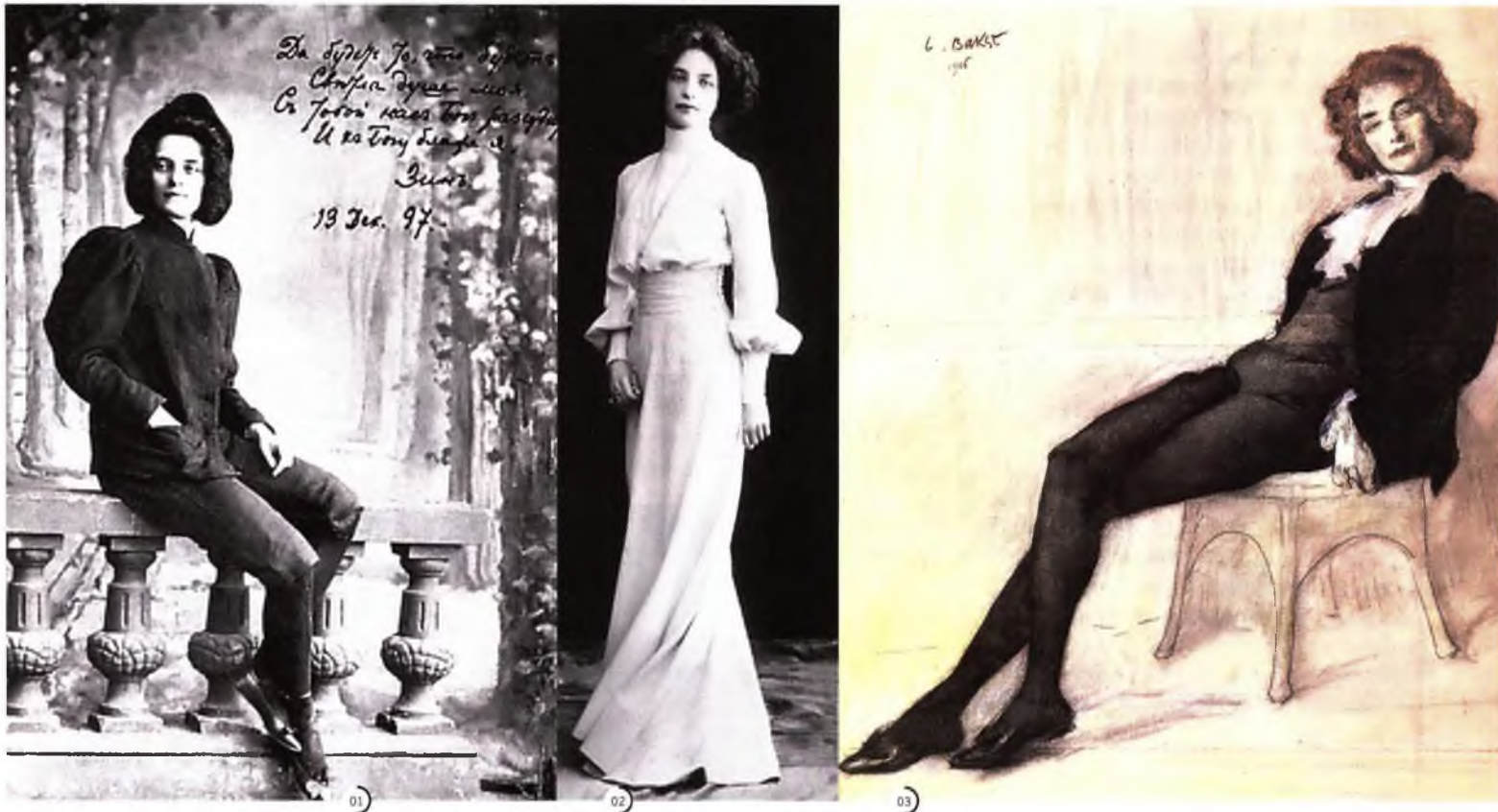


ЗИНАИДА ГИППИУС: ЛЮБОВЬ СВЯЗЫВАЕТ НЕБО И ЗЕМЛЮ

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ СУДЬБА БОГИНИ, ВЕДЬМЫ
И ОБЩЕПРИЗНАННОЙ ЛЕГЕНДЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА



О

Она всегда писала от лица мужчины. Не потому ли и мы говорим о ней только в мужском роде: поэт, прозаик, критик, драматург, редактор. Ее стихи становились событием, романы выходили в лучших издательствах, пьесы шли в Александринском императорском театре и не сходили со сцены даже после — уникальный случай в истории театра! — ее бегства из СССР.

В женском роде ей и ныне подходит, пожалуй, лишь одно определение — Легенда Серебряного века.

Интересы

Она умерла в воскресенье, в 3 часа 33 минуты. Гроб опустили на гроб мужа. В 1945-м, сразу после войны, на русском кладбище под Парижем это было в порядке вещей. И поскольку ее интимный дневник — «Дневник любовных историй» — опубликуют на Западе только через четверть века, а у нас и того позже, никто, стоя у ее могилы, так и не уз-

° 1–3

Зинаида Гиппиус в мужском костюме, романтическом платье (1904 год) и на полотне Л. Бакста (1906 год).

нал, что усопшую по-настоящему интересовали в жизни только две вещи: любовь и как раз смерть. Она не успеет закончить поэму «Последний круг», зато успеет написать в ней: «Любовь — это главное в человеческой жизни; любовь связывает небо и землю».

Я говорю о Зинаиде Гиппиус — о декадентской мадонне, о «белой дьяволице», о женщине, которую сам Бог, как пишут, удостоил «ручной выделки», выпуская всех прочих «пачками» и «сериями»; наконец, о поэтессе, которую уже при жизни звали «Достоевским русской поэзии». Таких, как она, не было. Да и не могло быть. Ведь целью ее существования было стать «не как все». Отказалась от титула (говорят, была из рода баронов фон Гиппиус), не желала, будучи немкой, учить немецкий, подписывалась мужскими псевдонимами, отбирала у влюбленных в нее обручальные кольца и вешала их в изголовье кровати.

За 52 года супружества с писателем Мережковским не расставалась с ним ни на один день...

Хорошо знавшая ее Нина Берберова написала: «Она выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной...»

Так кем же была тогда эта очаровательная, эпатажная, блистательно-галантливая и язвительно-умная — «неистовая Зинаида»?

Дневник

Жарким днем в начале августа 1927 года на парапете набережной Круазетт в Каннах сидели, безмятежно болтая ногами, две женщины. Со спины выглядели ровесницами, хотя одной было 58, а другой — 26 лет. Первую молодили шелковый полупрозрачный шарф, который развеивался вокруг шеи, тяжелые рыжие волосы, уложенные в прическу, и худенькая гибкая спина под розовой кофточкой. Обе были поэтессы, обе из-

° 4, 5

Зиночка подрастет и оставит нам по сей день неразгаданные дневники.

° 6

Неразлучные. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус.



ТАКИХ, КАК ОНА, НЕ БЫЛО. ДА И НЕ МОГЛО БЫТЬ. ВЕДЬ ЦЕЛЬЮ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ БЫЛО СТАТЬ «НЕ КАК ВСЕ». ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ТИТУЛА БАРОНЕССЫ, ПОДПИСЫВАЛАСЬ МУЖСКИМИ ПСЕВДОНИМАМИ...



вестны в России, из которой эмигрировали, и обе, это ясно уже теперь, остались в истории русской литературы...

Зинаида Гиппиус и Нина Берберова.

Они разговаривали, но никто, разумеется, не слышал их беседы. Разве что чайки. Но одна фраза донеслась, представьте, даже до нас: «Ах, Зинаида Николаевна, — воскликнула та, что моложе, — вас уважают за то, что вы интересуетесь возвышенным!..» «Я чуть не упала с парапета от такого понимания моей «формулы», — усмехнется потом Гиппиус. — Это Толстой интересовался «возвышенным». Я иное разумела. Интересоваться интересным. Это главное...»

Да, она интересовалась интересным, а «интересное» бывает, по словам Гиппиус, «всех размеров и состояний». И Бог, и дьявол, и поросенок, и любовь, и звезды. Интересны даже водяные пауки в ручье, на которых она с мужем заглядывалась как-то в Альпах; те так работали лапками, что Мережковский закричал вдруг: «Зина! Они — против течения! Они совсем как мы с тобой...»

«Против течения»... Кажется, это было в их жизни всегда. И уж точно было в Петербурге, когда они поселились в знаменитом доме Мурузи на Ли-



тейном, 24. Здесь февральской ночью 1892 года узкобедрая, гибкая 23-летняя женщина с пышными, «спущенными» на ночь волосами зажгла на столе керосиновую лампу (та была в виде совы с желтыми глазами) и, раскрыв тетрадь, вывела по-французски: «Дневник любовных историй».

Дневники Гиппиус будет вести почти всегда. По цвету обложек назовет их: «Синяя книга», «Черная тетрадь», «Серый блокнот». Будет писать о пережитом, о мировой войне, революциях, эмиграции, и почти все тетради сразу же публиковать. Еще бы, ее мнения подхватывались на лету писателями, титулованными особами, министрами, ее оценки в стихах, прозе, драматургии на все лады обсуждались в столичных салонах и в печати, а дела вроде учреждения Религиозно-философского общества приобретали оглушительный общественный резонанс.

Всё так!

Но вот странность, сегодня именно дневник о любви, который был не для печати («я сожгу его перед смертью») и который на Родине опубликуют лишь через полвека после ее кончины, читать без истинного волнения нельзя. Ибо о любви размышляла она, «Зинаи-

да прекрасная», «обольстительный подросток», как назовут ее поэты Брюсов и Маковский, а с другой стороны — «паночка Вия», по словам Одоевцевой, или, как совсем уж круто отозвался о ней Лев Троцкий, вообще «ведьма».

Тот так и напишет: «Я не верю в нечистую силу. Ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, в ведьм верю — вспомнил Зинаиду Гиппиус...»

Муж

Знакомство с будущим мужем произошло, разумеется, самым загадочным образом. Зина увлеклась стихами Надсона. И вдруг в зачитанном до дыр столичном журнале ей среди дифирамбов Надсону попалось имя молодого поэта, друга Надсона, — Мережковского. Имя запомнилось. А летом, когда она с матерью отдыхала в Боржоми, Мережковский, путешествуя по Кавказу, случайно оказался там же. Лил дождь, в гостиницу «Кавалерская» он не попал и решил немедленно уехать. Но на почте, где заказывал лошадей, его узнал молодой почтарь, латыш Якобсон, которого все звали Силой, который тоже писал стихи и, убеждая Зину выйти за него за-

муж, говорил ей: «Вы сила, и я сила; вместе мы горы сдвинем».

Этот Сила и уговорил юного Мережковского остаться, и в тот же вечер через знакомого гимназиста передал Зинаиде, что у него живет буддист из Индии, ходит в халатах и ни с кем не разговаривает. Зина гимназисту расхохоталась в лицо: «Это вздор. Никакого нет буддиста, ни халатов, а живет у него просто Мережковский». Почему «выскочило» это имя, она никогда не узнает: интуиция, провидение, мистика.

Но ровно через десять дней как-то само решилось, что они с Мережковским поженятся.

«Он просто говорил весело, живо, и интересно — об интересном». Смущало одно: «Он — умнее меня. Я это знаю, и все время буду знать и терпеть».

Из церкви новобрачные пешком отправились домой, где их ждал просто завтрак, только с шампанским, а затем день прошел, ровно как вчерашний. «Мы с Дмитрием продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали». Вечером он ушел в гостиницу, а она легла спать и, как пишет, забыла, что замужем. Да так забыла, что наутро едва вспомнила; просто

Только о себе

*Мы, — робкие, — во власти
всех мгновений.*

*Мы, — гордые, — рабы самих себя.
Мы веруем, — стыдясь своих прозрений,
И любим мы, — как будто не любя.*

*Мы, — скромные, — бесстыдно
молчаливы.*

*Мы в радости
боимся быть смешны, —*

*И жалобно всегда самолюбивы,
И низменно всегда разделены!
Мы думаем, что новый храм построим
Для новой, нам обещанной, земли...*

*Но каждый дорожит своим покоем
И одиночеством в своей щели.
Мы, — тихие, — в себе стыдимся Бога,
Надменные, — мы тлеем, не горя...
О, страшная и рабская дорога!
О, мутная последняя заря!*

Счастье

*Есть счастье у нас, поверьте,
И всем дано его знать.
В том счастье, что мы о смерти
Умеем вдруг забывать.*

*Не разумом, ложно-смелым
(Пусть знает — твердит свое),
Но чувственно, кровью, телом
Не помним мы про нее.
О, счастье так хрупко, тонко:
Вот слово, будто меж строк;
Глаза больного ребенка;
Увядавший в воде цветок, —
И кто-то шепчет: «Довольно!»
И вновь отравлена кровь,
И роицет в сердце безвольном
Обманутая любовь.
Нет, лучше б из нас на свете
И не было никого.
Только бы звери, да дети,
Не знающие ничего.*

Электричество

*Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» не слиты,
Не слиты — сплетены.
Их темное сплетенье
И тесно, и мертво,
Но ждет их воскресенье,
И ждут они его.
Концов концы коснутся —
Другие «да» и «нет»,
И «да» и «нет» проснутся,
Сплетенные сольются,
И смерть их будет — Свет.*



Юный март

*«Allons, enfants, de la patrie...»**

*Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель.
По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми
Наши гордый, наш мартовский мак!
Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны,
Держайте! Поможет нам снять его
Свобода великой страны.
Пойдем в испытания встречные,
Пока не опущен наш меч. Но свяжемся
клятвой навечною
Весеннюю волю беречь!*

8 марта 1917

14 декабря 1917 года

*Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли всё святое:
И стыд души, и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза.
Мы утопили, с визгом споря,
Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И наворованном вине.
Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и тьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!
Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!
И вот из рва, из терпкой муки,
Где по дну вьется рабий дым,
Дрожь протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.
К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть — или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!*

* «Вставайте, сыны отечества...»
(строчка из «Марсельезы»)



мать крикнула ей через дверь: «Муж пришел. Вставай!» «Муж? — пишет она. — Какое удивленье!..»

Так что же, и брачной ночи не было? — спросите, возможно, вы. Не было. Ни свадьбы, ни ночи. Комплексы, патология, упрямство, презрение к «общим местам» даже в чувственной сфере? Не знаю. И никто уже не знает! Беспримерный поединок с собой, некое самоисследование, научный опыт и одновременно эксперимент на себе начался у нее прямо из-под венца...

*Не ведаю, восстать или покориться,
Нет смелости ни умереть, ни жить...
Мне близок Бог — но не могу молиться,
Хочу любви — и не могу любить.
Я к солнцу, к солнцу руки простираю,
И вижу полог белых облаков...
Мне кажется, что истину я знаю —
И только для нее не знаю слов...*

Капризы

«Славянский базар» — этот московский дом на Никольской улице пока еще цел, хотя давно уже не тот. А ведь здесь, в уютном отеле, состоялась когда-то встреча двух светил поэзии, двух идеологов модерна, двух «прокуроров» русской поэзии — Зинаиды Гиппиус и Валерия Брюсова.

Было 12 часов солнечного декабряского дня, вспоминал Брюсов. «Вхожу, и первое, что вижу, раздетой Зинаиду Николаевну. Разумеется, я постучался, получил «войдите», но зеркало так поставлено, что в нем отражается вся спальня. «Ах, мы не одеты, но садитесь»...

Она в этот приезд поразит Брюсова и тем, что ходила только в белых платьях («у меня иного цвета кожа не переносит!»). И тем, что без московского жеманства прямо призналась, что у нее болит живот («не удивляйтесь, у нас принято говорить, когда живот болит»). И тем, что на лекции ее мужа о Гоголе, которая состоится в Историческом музее, поймав солнечный луч на блестящую пряжку своего ботинка, пускала «зайчики» на лбы и носы чинного президиума.

Она вообще всех поражала — это было сутью ее.

На обеде с иерархами Церкви могла капризно сказать соседу-священнику: «Как скучно! Подают всё одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!..» Иерарх побагровеет, поперхнется и больше никогда не сядет рядом с ней. В другой раз, зазвав к себе знаме-

нитого Горького, поставит свой стул посреди комнаты, наведет на мешковато сидящего в углу «Буревестника» золоченую лорнетку и спросит в упор: «Ну, что вы обо мне думаете?..» Горький пробурчит что-то бессвязное, а Мережковский голосом чревовещателя пояснит: «Зинаиду Николаевну понять нелегко. У моей жены душа темная. У моей жены душа чугунная». А Зина, закинув ногу на ногу, наклоняла свое гибкое тело в сторону Горького и, не сводя с него лорнета, светлым, четким голоском будет вторить мужу: «Да, у меня душа темная. Да, у меня душа чугунная...» И, растягивая в змеиную улыбку яркий рот, наслаждаясь смущением классика, будет ждать ответа...



Но особенно удивит в Москве Брюсова тем, что в пух и прах разругает петербургского критика, искусствоведа, соредактора журнала «Северный вестник» Волынского. Брюсов и в дневнике запишет: «Гиппиус не хочет даже печататься с Волынским под одной обложкой». Почему? Он не знал, не мог знать, что Волынский еще недавно был самой большой любовью Зинаиды, что Мережковский, муж, уже солидный писатель, даже провожал ее на свидания с ним и что роман этот закончился полным поражением ее...

Увлечение

Революцию встретили в Петрограде. Они жили тогда на Сергиевской,



ныне улице Чайковского. Я бы не стал поминать это, если бы угловой дом их не стоял в двух шагах от знаменитого Таврического дворца — горнила революции. Вот мимо их углового балкона в прямом смысле прошли (и стройными рядами, и безликими толпами) сначала Мировая война и революции, а потом — война Гражданская.

«Черный, грязный, усыпанный шелухой подсолнухов город, с шатающимися бандами расхлястанных солдат» — эти слова Гиппиус равно относились ко всем этим событиям. «Раскрашенная, в парике, оглохшая от болезни, — видел ее здесь Корней Чуковский. — Сидит за самоваром — и ругает с утра до ночи большевиков, ничего, кроме самовара, не видя и не слыша»...



Она и муж ее опять были «против течения», иными словами — против всех. Только теперь, увы, и все были — против них. Их как будто никто не любил уже — из недавно любящих. Ни Керенский, ни Савинков, ни Блок, ни Вырубова — никто из бывавших у них на Сергиевской. А кроме того, в этом доме закончился, распался фактически и их многолетний союз с Дмитрием Философовым, «брак», как злословили вокруг, «второе».

Бред! Разумеется, никакого брака не было. Был союз для создания Новой, небывалой еще Церкви: резали при свечах хлеб на белой скатерти, давали друг другу пить вино из одной чаши, молились, целовали в ладони руки друг другу и обменивались крестами. Из этого обряда родилось знаменитое Религиозно-философское общество — для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры. Но теперь и Философов уходил от них, вернее — от нее. Об их отношениях напишет потом Сергей Маковский, поэт:

«Я был свидетелем завязки этой странной любви между женщиной, не признававшей мужчин, и мужчиной,



РАСКРАШЕННАЯ, В ПАРИКЕ, ОГЛОХШАЯ ОТ БОЛЕЗНИ. СИДИТ ЗА САМОВАРОМ — И РУГАЕТ С УТРА ДО НОЧИ БОЛЬШЕВИКОВ.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ



° 7, 8

Ее книгами зачитывались...

° 9, 10

Любовный треугольник (Гиппиус, Философов и Мережковский) в жизни и на шарже Ре-Ми. 1908-1913 годы.

° 11

Петроград. 1918 год.



°12
Эмиграция. Вдвоем
до конца.

°13
Могила Зинаиды Гиппиус на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа в Париже (под одним надгробием с Дмитрием Мережковским).

°14
Наедине со Словом.

Лестница

*Сны странные порой
нисходят на меня.
И снилось мне: вверх, туда,
к вечерним теням,
На склоне серого и ветреного дня,
Мы шли с тобой вдвоем,
по каменным ступеням.
С неласковой для нас небесной высоты
Такой неласковою веяло прохладой;
И апельсиновые невинные цветы
Благоухали там, за низкою оградой.
Я что-то важное и злое говорил...
Улыбку помню я, испуганно-немую...
И было ясно мне: тебя я не любил,
Тебя, недавнюю, случайную, чужую...
Но стало больно, странно сердцу моему,
И мысль внезапная мне душу осветила:
О, нелюбимая, не знаю почему,
Но жду твоей любви!
Хочу, чтоб ты любила!*

не признававшим женщин. Уточнять не буду. Одно надо сказать: она сделала всё от себя зависевшее, чтобы дружба их стала настоящей любовью, в данном случае женщина победила в ней неженщину».

Она еле уговорила Философова бежать с ними на Запад. На вокзале, говорят, они теряли чемоданы, до последнего не могли пробиться в вагон, и Мережковский кричал, выдумывая на ходу: «Я член Совета. Я из Смольного!..» Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: «Шуба!» — с него, очевидно, в толпе срывали шубу. Но потом, скрючившись в купе, куда набилось 12 человек, вместо четырех, летя в ледяную неизвестность, она, видя перед собой двух Дмитриев — мужа и Философова — не могла, наверное, не думать о том, что сформулировала уже для себя:

«Да, верю в любовь, как силу великую. Верю, но знаю, чуда нет и не будет... Не буду же просить подставить мне лестницу к облакам, раз у меня нет крыльев... Хочу того, чего не бывает. Хочу освобождения. Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но... как любят здоровье или жизнь. А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу».

Любовь — неисполнимость — вот что следует и из слов ее, да и из жизни



В ЭМИГРАЦИИ ВСЕ ОПАСАЛИСЬ ЛЕЗТЬ К НЕЙ С ВОПРОСАМИ, ИБО НИКТО НЕ ХОТЕЛ ВЫГЛЯДЕТЬ ДУРАКОМ. А ОНА, КАЖЕТСЯ, СМЕЯЛАСЬ ВНУТРИ, А МОЖЕТ, ПЛАКАЛА — КТО ЗНАЕТ...



ее. Все видела и, кажется, поняла главное: любовь — это лестница к облакам, или, другими словами, — недостижимое совершенство...

Загадка

В их парижский дом приходило все русское зарубежье: Зайцев, Бунин, Ходасевич, Георгий Иванов, Тэффи. Гиппиус — сухая, сторбленная, вылинявшая, полуслепая ведьма «из немецкой сказки» — всех встречала на диване, под лампой. Сидела в старой, но еще элегантной кацавсье, курила тонкие папиросы, вышивала пальце. И по-прежнему «играла с пальцами», словно она, как раньше, как всегда была на сцене.



13

Это не мои слова. Так сказал о ней летописец русской эмиграции Юрий Терапиано: «Она всегда была подлинной русской патриоткой, глубоко любящей свою родину, — написал он и добавил: — В ней есть холодный блеск взлетающей с земли ввысь ракеты — ракеты, обреченной неминуемо разбиться о какое-нибудь небесное тело, не будучи в состоянии вернуться назад и рассказать нам о том, что там происходит...»

Сначала умер Мережковский, а через четыре года, в 1945-м, — она. В своем парижском доме на улице Колонэль Боннэ, 11-бис. До последнего дня они ежедневно ходили гулять в Булонский лес («Гулянье — свет, — любил приговаривать Мережковский, — а не гулянье — тьма»), потом в одно и то же кафе — пить кофе. Он в потертой бобровой шубе, привезенной когда-то из России, она в шубе рыжего меха, розовой шляпке и всегда — на высоких каблуках. Глядя на них, идущих под руку, было непонятно, кто за кого держится. Уже полвека. Да и зачем это было знать другим?

*Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные.
Дай мне еще увидеть
Родную мою Россию.
Как Симеону увидеть
Дал Ты, Господь, Мессию,
Дай мне, дай увидеть
Родную мою Россию.*



«...Там, на земле, я женщиной считался, — напишет она в последней незаконченной поэме.

— Но только что заговорю стихами, Вот как сейчас, сию минуту, с вами, Немедленно в мужчину превращался...» И непонятно у кого спрашивала: «Как знать могу, кто я? И было так до смерти. Хотите верьте мне, а то не верьте... Но я другого не могу сказать...»

Перед смертью у Зинаиды Николаевны отнялась правая рука. Та, которой писала всю жизнь. Она не успела закончить ни поэму «Последний круг», ни книгу о муже...

Словно вновь и вновь доказывала: она — «не как все».

Любила смутить гостя бесстыдным вопросом в лоб, прямою «от земли», вывертом. Глядя кошку по имени «Кошшшка» (с тремя «ш»), смеялась, что в итоге жизни так и не выучилась «готовить суп». Обожала парадоксы, цедила сквозь зубы: «Если надо объяснять... то не надо объяснять». И все опасались лезть с вопросами, ибо никто не хотел выглядеть дураком. Или говорила: «Один человек — это половина человека». И все смотрели на Мережковского в кресле (он и умрет в этом кресле у камина), думая, что он и есть ее «половина».

А она, кажется, смеялась внутри, а может, плакала — кто знает.

Известно точно: последними, написанными ее рукой, словами были: «Я стою мало. Как Бог мудр и справедлив». И еще известно, что, несмотря на вечного мужа, на постоянную толпу вокруг, она, оказывается, всю жизнь была страшно одинока. Об этом — каждая страница ее интимного потайного дневника. Одинока, как бывает абсолютно одиноким человек, взобравшийся на высочайшую вершину. На ледяной пик, за которым только облака, небо, Бог. Или, как ракета, оторвавшаяся от земли в поисках неземной любви.

